

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛИТ И ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2025.12.3.1>.

EDN: PHQTOY

В.А. ГУТОРОВ¹

¹ Санкт-Петербургский государственный университет
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЭЛИТЫ: ПОЛИТИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИТИКИ

Аннотация. Понятие стратегической культуры изначально ассоциировалось с национальными традициями, ценностями, взглядами, образцами поведения, привычками, символами, достижениями и конкретными способами адаптации к окружающей среде и решению проблем, связанных с угрозой или применением силы. Как один из основных элементов политики, стратегическая культура отражает фундаментальные потребности государства в безопасности. Она представляет собой организационное поле, внутри которого генерирование идей в форме интеллектуального экспериментирования и рефлексивное осмысление идеологических практик могут рассматриваться как единый дискурсивный процесс, оказывающий мощное воздействие на политическое сознание. Западные исследования стратегической культуры прошли три стадии развития. Первое поколение конца 1970 — начала 1980-х гг. состояло из советологов и специалистов в области политики безопасности, не испытывавших никаких теоретических амбиций. Второе поколение, появившееся в середине 1980-х гг., также сосредоточилось на сверхдержавах, но в своих рассуждениях ориентировалось преимущественно на грамшианскую перспективу. Представители третьего поколения с начала 1990-х гг. стремились изучать роль стратегических и организационных культурных норм в стратегическом выборе, одновременно пытаясь оценивать и объяснять новые подходы, которые не вписывались в доминирующие неореали-

стические объяснения (А.А. Джонстон). Стратегическая культура, постепенно утверждая свой статус в международной политической теории, в основном рассматривалась как эквивалент ценностей, моделей поведения или системы символов. В теоретическом и методологическом плане наибольшего внимания заслуживает острая дискуссия между К. Греем и А. Джонстоном об исходных принципах, на основе которых определение стратегической культуры может считаться объективным и непротиворечивым. Как полагает К. Грей, основная причина аберраций А. Джонстона состоит в том, что он пытался отделить идеи от поведения. Напротив, стратегическую культуру следует рассматривать и как контекст, формирующий поведение, и как саму составляющую этого поведения. Человек, организация или сообщество безопасности, лишившиеся культуры, по определению выводятся из процесса изучения опыта своего прошлого и как бы выпадают из последнего. Философский вектор теоретического спора между двумя выдающимися учеными и теоретиками вполне определенно указывает на спонтанное стремление к реконцептуализации стратегической культуры с учетом «грамшианской перспективы». В наши дни, благодаря многогранной, продолжавшейся многие десятилетия работе, связанной с экзегетикой текстов Антонио Грамши, а также интерпретацией и реинтерпретацией его политico-философского наследия, большинство ученых начинают постепенно разделять позицию, согласно которой в трудах и политической практике Грамши предшествующего периода идея культурных институтов занимала особое «стратегическое место» (Р. Уильямс, П. Мерли). В начале 1980-х гг. А. Коэн в работе «Политика культуры элит» использовал сходные в типологическом плане аналитические принципы с целью исследования драматического процесса, лежащего в основе «развития мистицизма в артикуляции элитарной организации». Совокупность символических верований и задействованных в этом драматургических практик формирует нормативную культуру, которая посредством различных процессов мистификации разрешает главное противоречие в формировании и функционировании элитной группы. Одна из непосредственных целей аналитики Коэна заключалась в том, чтобы обосновать в конечном итоге стратегически акцентуированное определение элит. На рубеже 1980–1990-х гг. широкое применение методов дискурс-анализа в политических науках во многом способствовало возникновению новых тенденций «спецификации» элит. Типичным примером в этом плане является обоснование Т. ван Дейком правомерности выделения категории «символические элиты» для лучшего понимания особенностей современного публичного дискурса. Однако

в плане дискурсивной вариативности еще *большую* роль в области анализа элит сыграло возникновение в начале XXI в. нового научного направления, получившего название «дискурсивный институционализм», который является зонтичной концепцией для широкого спектра работ в области политической науки, учитывающих основное содержание идей и интерактивные процессы, посредством которых идеи передаются и обмениваются через дискурс (В.А. Шмидт). В рамках нового направления возник широкий спектр дефиниций, отражающих стремление специалистов выявить новые аспекты активного воздействия идей на институциональные процессы и проекты. Идеи рассматриваются как переключатели интересов, дорожные карты, как стратегические конструкции или стратегическое оружие в борьбе за контроль, как нарративы, формирующие понимание событий, или как «референтные рамки», разновидности коллективной памяти или национальных традиций. Методологические установки и «программные убеждения» сторонников нового направления действительно способствовали в конечном итоге «переключению внимания» политологов в направлении реинтерпретации стратегической культуры. Они стремятся концептуализировать стратегическую культуру как состоящую из субкультур, каждая из которых обладает своей собственной индивидуальностью и базируется на мировоззрении элитной группы, социальный статус которой обеспечивает им легитимность, необходимую для вмешательства в публичную сферу. Отнюдь не «побочным эффектом» обозначенного выше «поворота к идеям» в форме дискурсивного институционализма может считаться разработка Дж. Уэдел концепции «элит влияния» (*influence elites*), тесно взаимосвязанной с ее многочисленными работами, посвященными проблемам коррупции, источником которых она считает современные «властные элиты» и «теневые элиты».

Ключевые слова: политические стратегии, стратегическая культура, элиты, культурные нормы, государство, политика безопасности, политические идеологии, дискурсивный институционализм, политическое сознание.

Для цитирования: Гуторов В.А. Стратегическая культура и элиты: политico-теоретические аспекты аналитики // Власть и элиты. 2025. Т. 12. № 3. С. 7–30. DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2025.12.3.1>. EDN: PHQTOY

Понятие стратегической культуры изначально ассоциировалось с национальными традициями, ценностями, взглядами, образцами поведения, привычками, символами, достижениями и конкретными способами адаптации к окружающей среде и решению проблем, связанных с угрозой или применением силы. Как один из основных элементов политики, стратегическая культура отражает фундаментальные потребности государства в безопасности. Она представляет собой организационное поле, внутри которого генерирование идей в форме интеллектуального экспериментирования и рефлексивное осмысление идеологических практик могут рассматриваться как единый дискурсивный процесс, оказывающий мощное воздействие на политическое сознание.

В своем монументальном труде «Культурный реализм: стратегическая культура и большая стратегия в китайской истории» (1998) Аластер Айэн Джонстон, профессор Гарвардского университета, отмечал, что западные исследования стратегической культуры прошли три различных стадии развития. Первое поколение конца 1970 — начала 1980-х гг. состояло из советологов и специалистов в области политики безопасности, не испытывавших никаких теоретических амбиций. Второе поколение, появившееся в середине 1980-х гг., «также сосредоточилось на сверхдержавах, но в своих рассуждениях ориентировалось преимущественно на грамшианскую перспективу. Это поколение признавало возможность разрыва между символическим стратегическим и культурным дискурсом и оперативными доктринаами, поскольку первый использовался для укрепления гегемонии стратегических элит и их полномочий определять вторые». Представители третьего поколения с начала 1990-х гг. «стремились изучать роль стратегических и организационных культурных норм в стратегическом выборе», одновременно пытаясь оценивать и объяснять новые подходы, «которые не вписывались в доминирующие неореалистические объяснения» [18, р. 5].

В 1977 г. Джек Снайдер предложил следующее самое раннее определение стратегической культуры — «совокупность идей, обусловленных эмоциональных реакций и моделей привычного поведения, которые члены национального стратегического сообщества приобрели посредством обучения или имитации». Характерная для данного типа культуры «аналитическая аргументация» включает в себя «совокуп-

ность взглядов и убеждений, которая направляет и ограничивает мышление по стратегическим вопросам, влияет на способ формулирования стратегических проблем и инициирует словарь и параметры восприятия стратегических дебатов» [38, р. 8–9]. С тех пор стратегическая культура стала новой «горячей темой» для специалистов и постепенно утвердила свой статус в международной политической теории. Она в основном рассматривалась как эквивалент ценностей, моделей поведения или системы символов. Следует отметить, что ученые не ограничивались микроперспективой, подчеркивая необходимость всестороннего ее изучения на макро- и мезо-уровнях.

С 1970-х по 1980-е гг. Джек Снайдер, Колин С. Грей и Карнес Лорд, сосредоточив внимание на причинах, приведших к различию между ядерными стратегиями США и Советского Союза, обычно рассматривали стратегическую культуру как решающий фактор национального стратегического поведения и были склонны думать, что стратегическая культура была фиксированной, а не изменчивой [17, р. 32–64] (ср.: [27, р. 263–293; 13, р. 127–138]). Западные стратегические исследования на первом этапе чрезмерно подчеркивали решающую роль исторического опыта и традиционной культуры с тенденцией к механическому детерминизму. Однако в середине–конце 1980-х гг. произошел поворот. Исследователи стали акцентировать внимание на том, что стратегическая культура становится орудием политической гегемонии в сфере принятия стратегических решений. В частности, Бредли Клейн отмечал, что стратегии, декларируемые Соединенными Штатами, были, по сути, инструментом, с помощью которого политические элиты могли «устранять потенциальные проблемы», придавая их стратегическому выбору рациональность и легитимность [23, р. 133–148]. Соответственно, А.А. Джонстон также пришел к выводу, что это поколение исследователей стратегической культуры рассматривало стратегии как нечто инструментальное, используемое политическими элитами для создания приемлемого с культурной и лингвистической точек зрения обоснования стратегий, а также для того, чтобы заставить замолчать потенциальных политических противников. Большинство из них считали, что стратегическая культура как структура априорных субъективных установок мало влияет на стратегический выбор в плане его диверсификации.

В начале 1990-е гг. новое поколение исследователей, представленное Аластером Джонстоном, Джейфри Легро и Элизабет Киер, начали размышлять и согласовывать две крайние стратегические культурные перспективы. Они утверждали, что стратегическая культура не является ни определяющим фактором, ни инструментом принятия стратегических решений, а промежуточной переменной. По их мнению, принятие решений на национальном уровне достигается в рамках когнитивного процесса, субъектом которого являются лица, принимающие эти решения на основе собственных «индивидуальных интервенций» [17, p. 40 sq.; 24 *passim*; 22, p. 65–93].

В теоретическом и методологическом плане наибольшего внимания, на наш взгляд, заслуживает острые дискуссии между К. Греем и А. Джонстоном об исходных принципах, на основе которых определение стратегической культуры может считаться объективным и не-противоречивым. Например, в статье «Стратегическая культура как контекст: первое поколение теории наносит ответный удар», Колин Грей, характеризуя плоды интеллектуальной деятельности быстро сменявших друг друга трех поколений исследователей, в частности, отмечал: «Стратегия может иметь множество измерений, одним из которых является культурное. Культура или культуры включают в себя устойчивые (хотя и не вечные) социально передаваемые идеи, установки, традиции, образы мышления и предпочтительные методы работы, которые более или менее специфичны для конкретного территориально-распределенного сообщества безопасности, имеющего, безусловно, уникальный исторический опыт. В одном конкретном сообществе вполне может существовать более одной стратегической культуры, подобно тому, как существуют военные культуры, связанные с конкретными задачами или географическими условиями. Более того, стратегическая культура (или культуры) может меняться со временем по мере усвоения, кодирования и культурной трансляции нового опыта. Однако культура меняется медленно. Исследователям, предлагающим рассматривать только недавнюю историю в плане ее определяющего влияния на современную стратегическую культуру, следует сменить концепции. Если считается, что стратегическая культура может существенно меняться из года в год или даже из десятилетия в десятилетие, то термин “культура”, вероятно, представляется

излишне возвышенным и даже претенциозным для характеристики рассматриваемого явления... Я решил сгруппировать измерения стратегии в три кластера. Первая категория "Люди и политика" включает: народ, общество, культуру, политику и этику. Вторая категория "Подготовка к войне" охватывает: экономику и логистику, организацию (включая оборону, вооруженные силы и, более непосредственно, войну и планирование), военную подготовку и управление (включая набор, обучение и многие аспекты вооружения), информацию и разведку, стратегическую теорию и доктрину, а также технологии. Последняя категория "Собственно война" объединяет: военные операции, командование (политическое и военное), географию, противодействие (включая случайность и неопределенность), противника и время» [14, р. 49, 51–52, 53].

Как полагает К. Грей, основная причина аберраций А. Джонстона состоит в том, что он разделяет предрассудки ученых, представляющих третье поколение. «Совершенно очевидно, как это и случается в социальных науках, что Айэн Джонстон ошибается, пытаясь отделить идеи от поведения. Культура существует сама по себе: мы и есть культура, мы — часть нашего контекста» [14, р. 68–69].

Утверждая, что «современные (третье поколение) исследователи стратегической культуры совершают серьезную ошибку, пытаясь разграничить культуру и поведение», К. Грей вместе с тем подчеркивал, что «эта ошибка была совершена ради достойной похвалы цели — поиска разумных критериев оценки влияния культуры... Стратегическую культуру следует рассматривать и как контекст, формирующий поведение, и как саму составляющую этого поведения» [14, р. 54]. «В этом плане, — отмечает Грей, — Джонстон допускает несколько ошибок. Во-первых, он требует "понятия стратегической культуры, которое поддается фальсификации или, по крайней мере, отличается от переменных, относящихся к не-стратегической культуре". Каким бы разумным ни было это требование, Джонстон не понимает аргумента, высказанного антропологом Лесли А. Уайтом: "Культура, по сути, не есть что-либо. Культура — это слово-понятие. Оно создано человеком и может использоваться произвольно для обозначения чего угодно, мы можем определить данный концепт как нам заблагорассудится"... Джонстон не понимает природу стратегической

культуры. Он возражает против теории, которая фактически не поддается проверке, поскольку ее очевидная сфера является вездесущей... Стратегическое поведение может быть эксцентричным с некоторых точек зрения, некомпетентным, неудачным, даже противоречащим культурным нормам, но оно не может быть акультуральным, выходящим за рамки культуры. Человек, организация или сообщество безопасности, лишившиеся культуры, по определению выводятся из процесса изучения опыта своего прошлого и как бы выпадают из последнего. Сам тезис о внекультуральности смешон... Стратегическая культура должна быть руководством к стратегическим действиям, независимо от того, насколько практичен тот вид действия, которые предпочитает культура» [14, р. 55, 62, 63] (ср.: [35, р. 651]).

Как это ни странно, но, несмотря на столь жесткую и бескомпромиссную критику, А. Джонстон предпочел занять довольно мягкую, примирительную позицию: «Несмотря на то, что он (Колин Грей — В.Г.) часто использует в отношении моей работы прилагательные, которые свидетельствуют об отчаянном стремлении сделать от нее прививку будущим поколениям ученых, мы во многом сходимся. Нас объединяет общее базовое онтологическое понимание международных отношений и, в частности, исследований безопасности. Мы согласны с тем, что стратегические культуры, которые, по взаимному признанию, мы определяем весьма по-разному, тем не менее являются критически важными объяснениями того, как разные группы людей думают и действуют, когда речь идет о применении силы. Мы также согласны с тем, что эти стратегические культуры не являются эпифеноменами унитарных государств, действующих в условиях анархии и ограниченных материальными властными структурами, а независимы от этих структур, возможно, находясь под влиянием как внутренних, так и международных нормативных структур» [19, р. 519].

На наш взгляд, философский вектор теоретического спора между двумя выдающимися учеными и теоретиками вполне определенно указывает на спонтанное стремление к реконцептуализации стратегической культуры с учетом «грамшианской перспективы».

В период «холодной войны» идеи гегемонии и культурной политики А. Грамши либо встречались враждебно, либо просто игнорировались. В 1952 г., через два года после первой посмертной частичной

публикации «Тюремных тетрадей», в которых упоминалось понятие «культурная политика» (*politica culturale*), итальянский философ Норберто Боббио опубликовал статью под названием «Культурная политика и политика культуры» [2, p. 61–74]. Статья видного исследователя творчества Грамши может рассматриваться как своеобразный комментарий на призывы недавно созданной организации «Европейское общество культуры» (*Società Europea di Cultura*) к интеллектуалам мира об опасностях взаимоотношений политики и культуры, особенно в форме «культурной политики». Как отмечал Боббио, руководители этой организации, созданной при участии таких интеллектуалов как Жюльен Бенда, Андре Бретон, Бенедетто Кроче, Томас Манн, Джузеппе Унгаретти, настаивали на том, чтобы культура не была ни «политизированной» (*cultura politicizzata*) или «политически ангажированной» (*cultura impegnata*), ни «apolитичной» (*cultura apolitica*) или «отстраненной» (*cultura non impegnata*) [2, p. 63]. В первом случае культура рассматривалась как инструмент реализации социальных целей, достижимых политическими средствами. В этом плане она «подчинялась» и, следовательно, «не поощрялась». Во втором случае культура считалась социально «некоммуникабельной» и, следовательно, она была «безразличной» и все более «бесцельной, бесплодной, капризной» [2, p. 63–64]. Однако, как полагал Н. Боббио, наиболее опасной была бы разработка концепции «культурной политики» (*politica culturale*), которая будет представлять собой «культуру, созданную политиками для достижения политических целей» [2, p. 64]. В последовавших публичных дебатах Боббио настаивал на том, что культурная политика особенно характерна для тоталитарных режимов. Однако даже либеральные демократии, по его мнению, становятся «тоталитарными» в тот самый момент, когда у них появляется «культурная политика» [см.: 3, p. 512–520].

Комментируя позицию, занятую Н. Боббио в обозначенных выше дебатах, Паола Мерли вполне справедливо отмечает, что «эта враждебность к идее культурной политики, в сочетании с ранее выраженным Кроче яростным неприятием философии практики Грамши, якобы сводящей философию к политическим интересам, которые не следует продвигать в итальянских массах, создала фон для параллельной стратегической попытки либерально-социалистических интеллектуалов

смешивать идеи Грамши о культуре с культурной политикой Итальянской коммунистической партии, а обе политики — со “ждановщиной”. Все это, по-видимому, с самого начала создало интеллектуальную среду, враждебную открытому обсуждению размышлений Грамши о культурной политике» [30, р. 440].

В наши дни, благодаря многогранной, продолжавшейся многие десятилетия работе, связанной с экзегетикой текстов Антонио Грамши, а также интерпретацией и реинтерпретацией его политico-философского наследия, большинство ученых начинают постепенно разделять позицию, сформулированную Паолой Мерли. По ее мнению, «культурные институты в трудах и политической практике Грамши предтюремного периода занимали особое, стратегическое место среди префигуративных пролетарских институтов. Они играли центральную роль в его теории и стратегии революционного процесса социалистического преобразования общества. Без понимания роли культурных институтов поздняя теория Грамши о формировании органических интеллектуалов и новой гегемонии, по-видимому, оказывается лишенной какого-либо конкретного применения» [29, р. 422].

Еще в 1970-е гг. Реймонд Уильямс книге «Марксизм и литература» в главе, посвященной проблеме гегемонии, связывал последнюю с категорией «господствующего», в то время как концепции «контргегемонии» и «альтернативной гегемонии» были введены как «реальные и устойчивые элементы практики» для объяснения «сопротивления или оппозиции», а также категории «альтернативного» [47, р. 113]. Тем самым Уильямс приступил к пересмотру понятия «гегемония». Фактически, вся обозначенная выше глава была посвящена всестороннему развитию категорий «господствующего», «остаточного» и «возникающего» [47, р. 121–127]. «Остаточное», пояснял Уильямс, «может иметь альтернативное или даже оппозиционное отношение к доминирующей культуре», но в то же время доминирующая культура включила в себя часть “остаточного” посредством работы “избирательной традиции”». «Возникающее», напротив, было своего рода «новым», которое состояло из новых ценностей, значений и практик, вызванных появлением нового класса, и не было включено в доминирующую культуру, оставаясь по отношению к ней «альтернативным» и «оппозиционным» [47, р. 122–123]. По мнению П. Мерли, хотя эти категории

можно рассматривать «как развитие или экстраполяцию» идей Грамши о «традиционных интеллектуалах» как «остатке» более ранней гегемонии и об «органических интеллектуалах» — выходцах из подчиненных классов, у Грамши эти концепты еще не были обобщены и схематизированы [28, р. 405] (ср.: [45; 46; 11; 6, р. 4–7; 16, р. 237; 15 *passim*]).

В начале 1980-х гг. Абнер Коэн в своей работе «Политика культуры элит» (*The Politics of Elite Culture*) использовал сходные в типологическом плане аналитические принципы с целью исследования «драматического процесса, лежащего в основе развития мистицизма в артикуляции элитарной организации. Совокупность символических верований и задействованных в этом драматургических практик формирует нормативную культуру, которая посредством различных процессов мистификации разрешает главное противоречие в формировании и функционировании элитной группы» [8, р. XIII]. Коэн подчеркивает, что любая элита представляет собой совокупность лиц, занимающих руководящие должности в какой-либо важной сфере общественной жизни и разделяющих разнообразные интересы, обусловленные сходством образования, опыта, общественных обязанностей и образа жизни. Для достижения этих интересов они стремятся к сотрудничеству и координации своих действий посредством корпоративной организации. Некоторые из этих интересов могут быть выражены в рамках формального объединения, например, в медицинской профессии [8, р. XVI]. Одна из непосредственных целей такого подхода заключалась в том, чтобы обосновать в конечном итоге стратегически акцентуированное определение элит. «Более близким термином, — отмечает Коэн, — была бы “властная группа”, но это, вероятно, привело бы к расплывчатым и порой неуклюжим формулировкам. Поэтому приходится вернуться к понятию “элита”, которое можно совместить в точном значении с гибкостью обозначения. Оно обозначает совокупность людей, занимающих руководящие позиции в какой-либо сфере общественной жизни, которые открыто не образуют отдельной группы, но тем не менее скрыто являются группой, неформально сотрудничающей и координирующей свои стратегии действий. В этом смысле этот термин, по сути, будет обозначать социокультурную группу, которая аналитически не сильно отличается от групп, описываемых как “этнические” или “религиозные”... Обсуждение в послед-

ней части книги дает лишь поверхностное представление о повсеместности, интенсивности, разнообразии и динамичности элитарных культурных представлений, а также об их непрерывной диалектике с меняющимися экономическими и политическими интересами и установками. Именно этот культурный процесс превращает категорию людей, например, представителей определенной профессии или должностных лиц государственного учреждения, в конкретную, корпоративную, взаимодействующую, кооперативную и сплоченную группу. Его символы служат для объединения, маскировки или мистификации главного противоречия, лежащего в основе развития и организации элитных групп в целом, противоречия между их универсалистскими и партикуляристскими тенденциями, между обязанностями их членов служить более широкой публике и их одновременным стремлением развивать свои собственные групповые интересы» [8, р. 233, 216–217] (ср.: [7, р. 15, 67, 107, 110; 21, р. 109 sq. ; 9 *passim*])¹.

¹ На наш взгляд, компромиссная формулировка, соединяющая классическую традицию как с методологией, разработанной А. Коэном и Р. Уильямсом, так и с концепцией дискурс-анализа Т. ван Дейка, на наш взгляд, была представлена Аластером Джонстоном в статье «Размышляя о стратегической культуре», которая была опубликована в 1995 г., т.е. еще за несколько лет до начала его знаменитого интеллектуального спора с Колином Греем: «Как могло бы выглядеть полезное определение стратегической культуры? По сути, нам необходимо понятие стратегической культуры, которое или поддается фальсификации, или, по крайней мере, демонстрирует отличие от нестратегических культурных переменных; которое отражает то, что стратегическая культура предположительно должна делать, а именно — предоставлять лицам, принимающим решения, уникально упорядоченный набор стратегических выборов, из которых мы можем делать прогнозы относительно поведения... Для простоты, кажется, лучше всего начать с выборочного переноса основных элементов культуры в стратегию. Я предполагаю, что стратегическая культура, если она существует, представляет собой идеальную среду, которая ограничивает поведенческий выбор. Но я также предполагаю, что из этих ограничений можно вывести конкретные прогнозы относительно стратегического выбора. Поэтому я склоняюсь к использованию первоначального определения стратегической культуры, которое является парадигмой определения Гирцем религии как культурной системы. Стратегическая

На рубеже 1980–1990-х гг. широкое применение методов дискурс-анализа в политических науках во многом способствовало возникновению новых тенденций «спецификации» элит. Типичным примером в этом плане является обоснование Т. ван Дейком правомерности выделения категории «символические элиты» для лучшего понимания особенностей современного публичного дискурса. Его позиция состоит в том, что, несмотря на преимущественный доступ большинства элит к публичному дискурсу и их значительный потенциал влияния на общественное мнение, особое внимание следует уделять тем элитам, которые непосредственно контролируют публичный дискурс. Традиционный термин «лидер общественного мнения» уже предполагает, что определенные элиты играют более заметную роль в публичных дебатах. Наиболее значимыми являются решения, действия и мнения символических элит — тех групп, которые непосредственно участвуют в принятии и легитимации общих политических решений, а именно, — влиятельных политиков, ведущих редакторов, режиссеров телевизионных программ, обозревателей, писателей, авторов учебников и специалистов в области гуманитарных и социальных наук. «За исключением ведущих политиков, большинство символических элит обладают ограниченной прямой властью в плане богатства или принятия решений, затрагивающих большие группы людей. Более того, их контроль ограничен сферой слов и идей, даже если косвенно они могут оказывать значительное влияние на умы других элит (например, политиков) и, соответственно, на государственную политику. Следовательно, такие элиты имеют основу власти, состоящую из “символического капитала”» [39, р. 46–47] (см. также: [4 *passim*; 33, р. 91, 300]).

культура — это интегрированная “система символов (например, структур аргументации, языков, аналогий, метафор), которая способствует у становлению всеобъемлющих и долгосрочных стратегических предпочтений путем формулирования концепций относительно роли и эффективности военной силы в межгосударственных политических отношениях и признания этим концепциям такого ореола фактичности, что стратегические предпочтения кажутся исключительно реалистичными и действенными”» [17, р. 45–46].

На наш взгляд, в плане дискурсивной вариативности еще большую роль в области анализа элит сыграло возникновение в начале нашего века нового научного направления, получившего название «дискурсивный институционализм», который «является зонтичной концепцией для широкого спектра работ в области политической науки, учитывающих основное содержание идей и интерактивные процессы, посредством которых идеи передаются и обмениваются через дискурс» [37, р. 3]. Вивиен Шмидт определяет дискурс как «разговор о своих идеях... [он] охватывает не только предметное содержание идей, но и интерактивные процессы, посредством которых идеи передаются». Дискурс — это не только идеи или «текст» (то, что сказано), но и контекст (где, когда, как и почему это было сказано). Термин относится не только к структуре (что сказано, или где и как), но также и кциальному акту (кто, кому, что сказал). Таким образом, институты рассматриваются как «данность» (как контекст, в котором акторы думают, говорят и действуют) и как «случайность» (как результат мыслей, слов и действий акторов). Институты являются внутренними по отношению к акторам, выступая как структуры, содержащие акторов, и как конструкции, созданные и измененные этими акторами. Впоследствии действия, предпринимаемые акторами, стали определяться как процесс, в котором акторы создают и поддерживают институты, используя их фоновые идейные возможности. Дискурс как интерактивный процесс наделяет участников способностью трансформировать институты. Изменения часто являются результатом таких интерактивных процессов в критические моменты. Таким образом, институциональные изменения динамичны и объяснимы с течением времени через идеи и дискурс акторов [36, р. 313–314, 316, 322; 37, р. 3, 9–12; 5, р. 341 sq.].

В рамках нового направления возник широкий спектр дефиниций, отражающих стремление специалистов выявить ранее не изученные аспекты активного воздействия идей на институциональные процессы и проекты. Идеи рассматриваются как «переключатели интересов, дорожные карты..., как стратегические конструкции или стратегическое оружие в борьбе за контроль, как нарративы, формирующие понимание событий, или как “референтные рамки”, разновидности коллективной памяти или национальных традиций» [36, р. 306]. Наконец,

идеи отождествляются с «программными убеждениями», «которые действуют в пространстве между мировоззрениями и конкретными политическими идеями»; как «ядра политики», предоставляющие собой «наборы диагностики и предписаний для действий», или как «“определения проблем”, устанавливающие диапазон возможных решений последних» [Ibid.].

Обозначенные выше методологические установки и «программные убеждения» действительно способствовали в конечном итоге «переключению внимания» политологов в направлении реинтерпретации стратегической культуры. Например, в своей обширной статье «Переосмысление стратегической культуры: вычислительно-дискурсивно-институциональный подход (социальные науки)», Тамир Либель, политолог из Барселонского университета отмечал, что интерпретация стратегической культуры в рамках новейшей концепции дискурсивного институционализма может разрешить трудности, с которыми сталкиваются прошлые и настоящие теории при попытке объяснить изменения. Новый подход будет способствовать решению основной институциональной проблемы — как институты влияют на действия людей. Обращение к идеям ослабляет фундаментальные предположения старых подходов («исторический институционализм», «новый институционализм»), согласно которым «институты находятся в стабильном равновесии с фиксированными рационалистическими предпочтениями, самоусиливающимися историческими путями или всеопределяющими культурными нормами». Вместо этого в дискурсивном институционализме «принято, что идеи и дискурс имеют значение в том плане, что они сосредоточиваются на более интересном для политологов наборе вопросов, а именно, как, когда, где и почему идеи и дискурс имеют значение» [25, р. 698–699] (см. также: [26, р. 353–355]).

Либель концептуализирует стратегическую культуру как состоящую из субкультур, каждая из которых обладает своей собственной индивидуальностью и базируется на мировоззрении элитной группы, социальный статус которой обеспечивает им легитимность, необходимую для вмешательства в публичную сферу. Хиль Эяль и Ларисса Бухгольц определяют такие субкультуры как эпистемические сообщества, выступающие в качестве ключевых действующих лиц в таких вмешательствах и обеспечивающие идеальную операционали-

зацию изменений в стратегической культуре. Эпистемическое сообщество изначально определялось как сеть профессионалов с признанной компетенцией и опытом в определенной области, а также как авторитетная заявка на получение важных для политики знаний по этой теме. Овладевая процессом выработки политики, эпистемическое сообщество способно формировать символический дискурс стратегической элиты и, следовательно, самой стратегической культуры [12, р. 128–129] (см. также: [32 *passim*; 34, р. 187 *sq.*]).

Отнюдь не «побочным эффектом» обозначенного выше «поворота к идеям» в форме дискурсивного институционализма может считаться разработка Джанин Уэдел, известным американским антропологом, концепции «элит влияния» (*influence elites*), тесно взаимосвязанной с ее многочисленными работами, посвященными проблемам коррупции, источником которых она считает современные «властные элиты» (*power elites*) и «теневые элиты» (*shadow elites*) [см.: 40; 10; 41; 42; 43] (см. также: [1; 20]).

В своей программной статье «От властных элит к элитам влияния: перезагрузка исследований элит в XXI веке» Дж. Уэдел стремится обосновать неизбежность «преодоления» теории элитарного господства, в рамках которой анализ элит традиционно осуществлялся «в терминах стабильных позиций на вершине устойчивых институтов» [44, р. 1]. «Сегодня многие условия, породившие эти стабильные командные посты, утрачены. Некоторые ученые утверждают, что возник новый тип элиты, реагирующий на новые условия. Таким образом, теория заслуживает пересмотра. В данной статье выдвигается аргумент о современных «элитах влияния». Эти элиты определяются своим *modus operandi*, а не семейным или классовым происхождением, богатством или институциональным положением. То есть их идентифицируют по тому, как они действуют, а не по их происхождению, накопленному капиталу или официальному положению, которое они занимают в данный момент. Появление этих новых способов функционирования является прямым следствием фундаментальных изменений в политических, экономических и социальных институтах за последние несколько десятилетий. Хотя теоретические и эмпирические исследования институтов часто отмечают их устойчивость в определенные периоды времени, даже в развитых обществах инсти-

туциональные изменения происходят часто. Эпоха дерегулирования и приватизации 1980-х гг., окончание холодной войны и последовавшее за этим размывание глобальной власти, а также развитие цифровых технологий привели к разрушению существующих институтов. Не менее важны и способы финансирования, в рамках которых рынки капитала и их ответвления оказывают значительное влияние на экономические и политические институты. Воспользовавшись преимуществами этой новой институциональной экосистемы — фрагментированного пространства управления и более гибких, разнообразных и децентрализованных структур власти, различные игроки, включая некоторые традиционные элиты, нашли гибкие способы работы. На вершине пищевой цепочки находятся влиятельные элиты, процветающие в условиях нестабильности. В частности, элиты влияния определяются (1) их гибкостью, меняющимися и пересекающимися ролями и отсутствием постоянной привязанности к какому-либо конкретному сектору или организации для достижения своих стратегических целей; (2) их неформальностью и вытеснением формальных структур и процессов (при этом не исключается их использование в выгодных случаях); (3) мобилизуемыми ими организациями, включая консалтинговые компании, аналитические центры и неправительственные организации; и (4) их связующей ролью, положением в официальной, корпоративной, частной организационной экосистеме (включая вышеуказанные организации) и сетях взаимодействия друг с другом. Поскольку они возникли, чтобы воспользоваться преимуществами новой институциональной экосистемы, и поскольку они практикуют особый *modus operandi*, для их описания необходим новый термин» [44, р. 1].

Конечный вывод Дж. Уэдел состоит в следующем: «Сила элит влияния в меньшей степени опирается на иерархии и стабильные сети, которые подчеркиваются во многих традиционных теориях элит. По большей части речь идет об их способности быть гибкими и изменчивыми, умении привлекать такие организации, как аналитические центры и консалтинговые фирмы, которые также обладают этими качествами. Хотя сегодняшние элиты влияния связывают военные, политические и правительственные (и другие) сферы посредством неформальных сетей, как и во времена Миллза, организация, деятель-

ность и функции этих связующих звеньев изменились. Сфера власти Миллза, которые сегодня должны были бы охватывать СМИ и инструменты власти, такие как аналитические центры и консалтинговые фирмы, также обслуживаются сетями игроков, которые, что крайне важно, размывают роли и усиливают собственное влияние» [44, р. 17].

* * *

Одной из главных целей статьи является попытка понять, каким именно образом осуществляется эволюция в области интерпретации элит в современной политической теории независимо от контекстов и ракурсов интерпретации и даже субъективных установок самих теоретиков. Исследуя дискуссионные проблемы, связанные с анализом элит в контексте многообразных концепций стратегической культуры, я лишний раз убеждался в правомерности гипотезы, которая неоднократно подтверждалась в аналитике других не менее сложных проблем и сюжетов. Главный довод, лежащий в основе данной гипотезы, состоит в том, что эволюция многообразных теорий элит происходит не линейно, к ней неприменимо само понятие «прогресс». Скорее, она осуществляется и структурируется в соответствии с гипотезой, предложенной Чарльзом Дарвином. Многие популярные версии псевдодарвинистского мифа (хотя и не все) представляют эволюционный процесс как пирамиду или лестницу, существующую с целью создания ЧЕЛОВЕКА в качестве его вершины, а иногда как запрограммированные на дальнейшее развитие ЧЕЛОВЕКА до какого-то далекой «Точки Омега» (Тейяр де Шарден), которая еще больше прославит современные западные идеалы. Это представление не имеет основы в сегодняшней биологической теории. Последняя изображает формы жизни совершенно иначе, а именно — по схеме, описанной Дарвином в «Происхождении видов» — как распространяющиеся кустовым способом, из общего источника для заполнения имеющихся ниш без какого-либо особого «восходящего» направления. Концепция, изображающая пирамиду, была предложена Жаном-Батистом Ламарком и разработана Пьером Тейяром де Шарденом; она вообще не принадлежит современной науке, а, скорее, традиционной метафизике [см.: 31, р. 9–12].

На наш взгляд, одна из наиболее важных причин, препятствующая реализации идеи «эволюционной пирамиды» в решении проблемы элитарных аспектов стратегической культуры, состоит, с одной стороны, в ее междисциплинарном характере, а с другой, — в постоянно подтверждаемой историческим опытом предельной устойчивости ранней традиции интерпретации элит, которая сформировалась в социологии и социальной философии Вильфредо Парето, Гаэтано Москса, Макса Вебера, Роберта Михельса, Антонио Грамши, Чарльза Райта Миллза и многих других.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Гуторов Владимир Александрович — доктор философских наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет.

Телефон: +7 (812) 363-60-00 доб. 6171. **Электронная почта:** gut-50@mail.ru.

Research Article

VLADIMIR A. GUTOROV¹

¹ St. Petersburg State University

7/9, Universitetskaya emb., 199034, St. Petersburg, Russia

STRATEGIC CULTURE AND ELITES: POLITICAL-THEORETICAL ASPECTS OF ANALYTICS

Abstract. The concept of strategic culture was initially associated with national traditions, values, views, patterns of behavior, habits, symbols, achievements, and specific ways of adapting to the environment and solving problems associated with the threat or use of force. As a fundamental element of policy, strategic culture reflects the state's fundamental security needs. It constitutes an organizational field within which the generation of ideas through intellectual experimentation and the reflexive understanding of ideological practices can be viewed as a single discursive process that exerts a powerful influence on political consciousness. Western studies of strategic culture have gone through three distinct stages of development. The first generation, in the late 1970s and early 1980s, consisted of Sovietologists and security policy specialists with no theoretical ambitions. The second generation, which emerged in the mid-1980s, also focused on superpowers, but their reasoning was primarily oriented toward a Gramscian perspective. Members of the third generation, beginning in the early 1990s, sought to examine the role of strategic and organizational cultural norms in strategic choice, while simultaneously attempting to evaluate and explain new approaches that did not fit into dominant

neorealist explanations (A.I. Johnston). Strategic culture, gradually establishing its status in international political theory, was primarily viewed as equivalent to values, behavioral patterns, or symbolic systems. From a theoretical and methodological perspective, the most noteworthy is the heated debate between K. Gray and A.I. Johnston on the initial principles on the basis of which the definition of strategic culture can be considered objective and consistent. According to K. Gray, the main reason for A. Johnston's aberrations is that he attempted to separate ideas from behavior. On the contrary, strategic culture should be viewed both as the context that shapes behavior and as a component of that behavior itself. A person, organization, or security community deprived of culture is, by definition, removed from the process of learning from its past and, as it were, falls out of it. The philosophical thrust of the theoretical debate between two prominent scholars and theorists clearly points to a spontaneous desire to reconceptualize strategic culture from a "Gramscian perspective". Nowadays, thanks to the multifaceted work that has been going on for many decades, connected with the exegesis of Antonio Gramsci's texts, as well as the interpretation and reinterpretation of his political and philosophical legacy, most scholars are gradually beginning to share the position according to which in the works and political practice of Gramsci's pre-prison period, the idea of cultural institutions occupied a special "strategic place" (R. Williams, P. Merli). In the early 1980s, Abner Cohen, in his work "The Politics of Elite Culture", used similar typological analytical principles to explore the dramatic process underlying "the development of mysticism in the articulation of an elite organization". The complex of symbolic beliefs and the dramaturgical practices involved forms a normative culture that, through various processes of mystification, resolves the central contradiction in the formation and functioning of an elite group. One of the immediate goals of Cohen's analysis was to ultimately substantiate a *strategically focused definition of elites*. At the turn of the 1980s and 1990s, the widespread use of discourse analysis methods in political science contributed significantly to the emergence of new trends in elite "specification". A typical example in this regard is T. van Dijk's justification of the legitimacy of identifying the category of "symbolic elites" for a better understanding of the characteristics of modern public discourse. However, in terms of discursive variability, an even greater role in the field of elite analysis was played by the emergence at the beginning of this century of a new scientific direction called "discursive institutionalism", which is an umbrella concept for a wide range of works in the field of political science that take into account the main content of ideas and the interactive processes through which ideas are transmitted and exchanged through discourse (V.A. Schmidt). Within this new field, a wide range of definitions has emerged, reflecting the desire of specialists to identify new aspects of the active influence of ideas on institutional processes and projects. Ideas are viewed as "interest switches, roadmaps, strategic constructs or strategic weapons in the struggle for control, narratives shaping understanding of events, or 'reference

frames', varieties of collective memory or national traditions". The methodological principles and "programmatic convictions" of the new school's proponents have indeed contributed to a shift in political scientists' attention toward a reinterpretation of strategic culture. They seek to conceptualize strategic culture as consisting of subcultures, each with its own distinct identity and based on the worldview of an elite group whose social status provides them with the legitimacy necessary to intervene in the public sphere. By no means a "side effect" of the above-mentioned "turn to ideas" in the form of discursive institutionalism can be considered the development of Janine Wedel's concept of "influence elites", closely connected with her numerous works devoted to the problems of corruption, the source of which she considers to be modern "power elites" and "shadow elites".

Keywords: political strategies, strategic culture, elites, cultural norms, state, security policy, political ideologies, discursive institutionalism, political consciousness.

For citation: Gutorov V.A. Strategic culture and elites: political-theoretical aspects of analytics. *Vlast' i elity = Power and elites*. 2025. Vol. 12. No. 3. P. 7–30. DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2024.12.3.1>. (In Russ.)

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Vladimir A. Gutorov — Doctor of Philosophy, Professor, St. Petersburg State University. **Phone:** +7 (812) 363–60–00 add 6171. **E-mail:** gut–50@mail.ru.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Birtchnell Th. Shadow elite: How the world's new power brokers undermine democracy, government, and the free market by Janine R. Wedel. *Contemporary sociology: A journal of reviews*. 2011. Vol. 40. No. 1. P. 103–104. <https://doi.org/10.1177/0094306110391764hhh>.
2. Bobbio N. Politica culturale e politica della cultura. *Rivista di filosofia*. 1952. Vol. 43. No. 1. P. 61–74.
3. Bobbio N. Difesa della libertà. *Società*. 1952. Vol. 8. No. 3. P. 512–520.
4. Bourdieu P. *Homo academicus*. Paris: Les Éditions de Minuit, 1984. 320 p.
5. Capoccia G., Daniel R., Kelemen D.R. The study of critical junctures: Theory, narrative and counterfactuals in historical institutionalism. *World politics*. 2007. Vol. 59. No. 3. P. 341–369. <https://doi.org/10.1017/S0043887100020852>
6. Carley R.F. *cultural studies methodology and political strategy: Metaconjuncture*. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. 142 p.
7. Cohen A. *Two-Dimensional man: An essay on the anthropology of power and symbolism in complex society*. Berkeley; Los Angeles; London: Routledge, 1974. 156 p.

8. Cohen A. *The politics of elite culture*. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2020. 257 p.
9. *Cultural Values in Strategy and Organization*. Ed. by T.K. Das. Charlotte, NC: Information Age Publishing, Inc., 2021. 362 p.
10. Dumas L.J., Wedel J.R., Callman G. *Confronting corruption, building accountability: Lessons from the world of international development advising*. New York: Palgrave Macmillan, 2010. 203 p.
11. Eagleton T. Marxism and deconstruction. *Contemporary literature*. 1981. Vol. 22. No. 4. P. 477–488. <https://doi.org/10.2307/1207879>
12. Eyal G., Buchholz L. From the sociology of intellectuals to the sociology of interventions. *Annual review of sociology*. 2010. Vol. 36. No. 1. P. 117–137. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102625>
13. Faucheur C. Strategy formulation as a cultural process. *International studies of management and organization*. 1977. Vol. 7. No. 2. P. 127–138. <https://doi.org/10.1080/00208825.1977.11656225>
14. Gray C.S. Strategic culture as context: The first generation of theory strikes back. *Review of international studies*. 1999. Vol. 25. No. 1. P. 49–69. <https://doi.org/10.1017/S0260210599000492>
15. Holt D., Cameron D. *Cultural Strategy: Using innovative ideologies to build breakthrough*. Oxford: Oxford University Press, 2010. 387 p.
16. Jones G. L. Elite culture, popular culture and the politics of hegemony. *History of European ideas*. 1993. Vol. 16. No. 1–3. P. 235–240. [https://doi.org/10.1016/S0191-6599\(05\)80123-8](https://doi.org/10.1016/S0191-6599(05)80123-8)
17. Johnston A.I. Thinking about strategic culture. *International security*. 1995. Vol. 19. No. 4. P. 32–64. <https://doi.org/10.2307/2539119> [10.2307/2539119](https://doi.org/10.2307/2539119)
18. Johnston A.I. *Cultural realism: Strategic culture and grand strategy in Chinese history*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998. 307 p.
19. Johnston A.I. Strategic cultures revisited: Reply to Colin Gray. *Review of international studies*. 1999. Vol. 25. No. 3. P. 519–523. <https://doi.org/10.1017/S0260210599005197>
20. Johnston M. Shadow elite: How the world's new power brokers undermine democracy, government and the free market by Janine R. Wedel. New York: Basic Books, 2009. *Governance*. 2013. Vol. 26. No. 4. P. 698–700. <https://doi.org/10.1111/gove.12051>
21. Keller J., Wen Chen E. Culture, paradoxical frames, and behavioral strategy. *Cultural values in strategy and organization*. Ed. by T. K. Das. Charlotte, NC: Information Age Publishing, Inc., 2021. P. 109–132.

22. Kier E. Culture and military doctrine: France between the wars. *International security*. 1995. Vol. 19. No. 4. P. 65–93. <https://doi.org/10.2307/2539120>
23. Klein B. Hegemony and strategic culture: American power projection and alliance defense politics. *Review of international studies*. 1988. Vol. 14. No. 2. P. 133–148. <https://doi.org/10.1017/S026021050011335X>
24. Legro J. *Cooperation under fire: Anglo-German restraint during World War II*. Ithaca; London: Cornell University Press, 2013. 255 p.
25. Libel T. Rethinking strategic culture: A computational (social science) discursive-institutionalist approach. *The journal of strategic studies*. 2020. Vol. 43. No. 5. P. 686–709. <https://doi.org/10.1080/01402390.2018.1545645>
26. Libel T. Strategic culture as a (discursive) institution: A proposal for falsifiable theoretical model with computational operationalization. *Defence studies*. 2020. Vol. 20. No. 4. P. 353–372. <https://doi.org/10.1080/14702436.2020.1814152>
27. Lord C. American strategic culture. *Comparative strategy*. 1985. Vol. 5. No. 3. P. 269–293. <https://doi.org/10.1142/S2377740024500192>
28. Merli P. Creating the cultures of the future: Cultural Strategy, policy and institutions in Gramsci. Part I: Gramsci and cultural policy studies: Some methodological reflections. *International journal of cultural policy*. 2013. Vol. 19. No. 4. P. 399–420. <https://doi.org/10.1080/10286632.2011.643872>
29. Merli P. Creating the cultures of the future: Cultural strategy, policy and institutions in Gramsci. Part II: Cultural strategy and institutions in Gramsci's early writings and political practice. *International journal of cultural policy*. 2013. Vol. 19. No. 4. P. 421–438. <https://doi.org/10.1080/10286632.2011.643873>
30. Merli P. Creating the cultures of the future: Cultural strategy, policy and institutions in Gramsci. Part III: Is there a theory of cultural policy in Gramsci's prison notebooks? *International journal of cultural policy*. 2013. Vol. 19. No. 4. P. 439–461. <https://doi.org/10.1080/10286632.2011.643874>
31. Midgley M. The origin of ethics. *A companion to ethics*. Ed. by P. Singer. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1993. P. 3–13.
32. Mirow W. *Strategic culture, securitisation and the use of force: Post-9/11 security practices of liberal democracies*. London: Routledge, 2016. 267 p.
33. *Measuring identity: A guide for social scientists*. Ed. by R. Abdelal, Y.M. Herrera, A.I. Johnston, R. McDermott. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 428 p.
34. Najmaei A. The case of executives' cultural intelligence in behavioral strategy: An introductory essay and a research agenda. *Cultural values in strategy and organization*. Ed. by T.K. Das. Charlotte, NC: Information Age Publishing, Inc., 2021. P. 187–228.

35. Putnam R.D. Studying elite political culture: The case of “ideology”. *American political science review*. 1971. Vol. 65. No. 3. P. 651–681.
<https://doi.org/10.2307/1955512>
36. Schmidt V.A. Discursive institutionalism: The explanatory power of ideas and discourse. *Annual review of political science*. 2008. Vol. 11. No. 1. P. 303–326.
<https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.060606.135342>
37. Schmidt V.A. Taking ideas and discourse seriously: Explaining change through discursive institutionalism as the fourth “new institutionalism”. *European political science review*. 2010. Vol. 2. No. 1. P. 1–25.
<https://doi.org/10.1017/S175577390999021X>
38. Snyder J. *The Soviet strategic culture: Implications for limited nuclear operations: A project Air Force report prepared for the United States Air Force*. Santa Monica, Calif.: Rand, 1977. 40 p.
39. van Dijk T.A. *Elite discourse and racism*. Newbury Park; London; New Delhi: SAGE Publications, 1993. 320 p.
40. Wedel J.R. *Shadow elite: How the world's new power brokers undermine democracy, government, and the free market*. New York: Basic Books, 2009. 283 p.
41. Wedel J.R. Beyond conflict of interest: Shadow elites and the challenge to democracy and the free market. *Polish sociological review*. 2011. Vol. 174. No. 2. P. 149–165. <https://doi.org/10.2307/41275196>
42. Wedel J.R. Rethinking corruption in an age of ambiguity. *Annual review of law and social science*. 2012. Vol. 8. No. 1. P. 453–498.
<https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.093008.131558>
43. Wedel J.R. *Unaccountable: how elite power brokers corrupt our finances, freedom, and security*. New York; London: Pegasus Books, 2016. 386 p.
44. Wedel J.R. From power elites to influence elites: Resetting elite studies for the 21st century. *Theory, culture & society*. 2017. Vol. 34. No. 5–6. Special issue: Elites and power after financialization. P. 1–26.
<https://doi.org/10.1177/0263276417715311>.
45. Williams G.A. The concept of “egemonia” in the thought of Antonio Gramsci: Some notes on interpretation. *Journal of the history of ideas*. 1960. No. 21. No. 4. P. 586–599. <https://doi.org/10.2307/2708106>.
46. Williams R. Base and superstructure in Marxist cultural theory. *New left review*. 1973. Vol. 1. No. 82. P. 3–16. <https://doi.org/10.64590/vvo>.
47. Williams R. *Marxism and literature*. Oxford: Oxford University Press, 1977. 224 p.